

ДЭНИЕЛ МЕЙСОН

Зимний солдат

роман

Я давний поклонник Дэниела Мейсона.
Его талант рассказчика и стилиста
не оставляет нам выбора — хочется, чтобы
он писал еще и еще. “Зимний солдат” —
это шедевр. — АБРАХАМ ВЕРГЕЗЕ



Дэниел Мейсон

Зимний солдат

Роман

Daniel Mason
The Winter Soldier

Все права защищены. Любое воспроизведение, полное или частичное, в том числе на интернет-ресурсах, а также запись в электронной форме для частного или публичного использования возможны только с разрешения владельца авторских прав.

Copyright © 2018 by Daniel Mason
© Александра Борисенко, Виктор Сонькин, перевод, 2022
© Андрей Бондаренко, оформление, 2022
© «Фантом Пресс», издание, 2022

Посвящается Саре

У некоторых привязанностей несчастливая судьба.

Андре Лери, Commotions et émotions de guerre, 1918

*Северная Венгрия,
февраль 1915 года*

Они пять часов ехали на восток от Дебрецена, когда поезд вдруг остановился на полустанке среди пустынной равнины.

Не было никакого объявления, не было даже свистка. Если бы не занесенная снегом табличка, он и не узнал бы, что прибыл в место назначения. Он заторопился, боясь, что поезд тронется, схватил ранец, шинель, саблю, стал проталкиваться через толпу, сгрудившуюся в проходе. Здесь никто больше не выходил. Через несколько вагонов от него проводники выгружали на снег какие-то ящики и растирали замерзшие ладони, прежде чем торопливо запрыгнуть обратно в поезд. Потом вагоны тронулись, позвякивая цепями; ветер приподнял полы его шинели и закрутил снежный вихрь вокруг колен.

Гусара он нашел в станционном здании, куда тот завел лошадей с холода. Они прядали ушами, задевая низкий потолок, их длинные морды тянулись к скамье, где сидели три старые крестьянки, сложив руки на закутанных животах, словно толстые мужички после сытной трапезы. Ноги у них слегка не доставали до пола. Женщина, лошадь, женщина, лошадь, женщина. Гусар стоял молча. Дома, в Вене, Люциуш видел гусарские полки на параде, с перьями и цветными кушаками, но этот человек был одет в толстую серую шинель и потертую меховую шапку с проплешинами. Он жестом поманил Люциуша и вручил ему поводья одной из лошадей, прежде чем вывести другую наружу; хвост лошади задел сидящих женщин, когда гусар проходил под габсбургским двуглавым орлом над двойными дверями.

Люциуш потянул за поводья, но лошадь заупрямилась. Он погладил ее шею сломанной рукой, а здоровой продолжал тянуть.

«Ну, пошла», — шептал он сначала на немецком, потом на польском, пока ее задние копыта не оторвались наконец от обледеневшего пола с намерзшим на нем навозом. Гусару, стоявшему у дверей, он сказал:

— Долго же вы ждали.

Больше они не разговаривали. Гусар опустил на лицо кожаную маску с прорезями для глаз и ноздрей и взобрался на лошадь. Люциуш последовал его примеру, закинув ранец за плечи и пытаясь поплотнее обмотать лицо шарфом. Из станционного здания за ними наблюдали три старые женщины, пока гусар не развернулся на лошади и не захлопнул дверь. Вы не дождетесь своих сыновей, хотел сказать им Люциуш. Во всяком случае, живыми и здоровыми. Едва ли остался хоть один мужчина, способный передвигаться, который не пытался бы сейчас прорвать русскую осаду Перемышльской крепости.

Не говоря ни слова, гусар повернул на север и пустился рысью — длинная винтовка перекинута поперек седла, сабля на поясе. Люциуш оглянулся, но поезд уже исчез. Снежные хлопья заносили пути.

Он следовал за гусаром. Копыта цокали по замерзшей земле. Небо было серым, и перед собой он видел горы, вздымающиеся навстречу бурану. Где-то там, впереди, ждали Лемновицы, полковой госпиталь Третьей армии, где ему предстояло проходить службу.

Ему исполнилось двадцать два года, он не находил себе места, не доверял иерархии, не мог дождаться конца учебы. Три года он провел в библиотечном уединении, с монашеской непреклонностью посвящая себя медицине. Учебники его щетинились полосками папиросной бумаги, которые он облизывал и приклеивал на полях. В больших залах, на светящихся диапозитивах, он рассматривал разрушительное воздействие тифа, скарлатины, волчанки, чумы. Он запоминал признаки кокаинизма и истерии, знал, что запах миндаля сопровождает отравление цианидом, что аортальный стеноз можно диагностировать, приложив стетоскоп к шее и услышав характерный шум. В галстук и свежевыглаженном белом халате он проводил часы, всматриваясь вниз с головокружительной высоты анатомического театра, вытягивая шею, чтобы пробиться взглядом сквозь беспокойные стайки однокашников, поверх аккуратных стрижек старших студентов, поверх голов практикантов и ассистентов, за хирургическую простыню, туда, где зиял разрез. К моменту объявления войны анатомический театр снился ему еженощно: длинные, утомительные сновидения, в которых он извлекал невообразимые органы, наполовину человеческие, наполовину свиные (он практиковался на отходах из мясной лавки). Однажды, когда ему снилось удаление желчного пузыря, он с поразительной отчетливостью ощутил влажную, свинцовую тяжесть печени и проснулся в полной уверенности, что смог бы провести операцию сам.

Служение Люциуша было самозабвенным, однако истоки его оставались загадкой. В детстве он с увлечением разглядывал восковых кадавров в анатомическом музее, но с не меньшим увлечением их разглядывали и его братья, и ни один из них не обратился к искусству Гиппократов. В роду у Люциуша не было врачей — ни среди Кшелевских из Южной Польши, ни тем более

среди предков его матери. Иногда, во время ее невыносимых светских приемов, какая-нибудь глупая гусыня загоняла его в угол и принималась разглагольствовать о том, что медицина благородное призвание и однажды он будет вознагражден за свою доброту. Но доброта его не интересовала. Самый честный ответ на вопрос, что заставляет его проводить бесконечные часы за учебой, был таким: радость познания. Он не был склонен к религиозности, но именно религия подсказывала ему слова: откровение, таинство, чудо Господнего творения, а значит, и чудо несовершенства этих творений.

Радость познания — такой ответ он давал в минуты высочайшего восторга. Но у его выбора была и другая причина, о которой он задумался позже, в часы сомнений. У него было два однокурсника, которых он мог бы назвать друзьями, — Фейерман был сыном портного, Каминский, носивший очки с простыми стеклами, чтобы выглядеть старше, учился на стипендию сестер милосердия. Они никогда не говорили об этом, но Люциуш знал, что его товарищи пришли в медицину для того, чтобы подняться по общественной лестнице. Для Фейермана и Каминского медицина означала путь вверх: из трущоб Леопольдштадта, из благотворительной школы для бедных. У Люциуша же отец принадлежал к старинному польскому семейству, происходившему от Иафета, сына Ноя (да, того самого), а в жилах матери текла небесно-голубая кровь Великого освободителя Вены, Спасителя западной цивилизации Яна Собеского — короля польского, великого князя литовского, русского, прусского, мазовецкого, жемайтского, ливонского, смоленского, киевского, волынского и так далее и так далее, — и для Люциуша эта лестница вела не вверх, а прочь.

Нет, с самого начала он был чужим среди них, случайный шестой ребенок, родившийся через годы после того, как врач сообщил матери, что она не сможет больше забеременеть. Если бы он не был точной копией отца — высокий, с большими руками, с алебастрово-бледной кожей, с белокурой шевелюрой исландца, со стариковскими

растрепанными бровями, даже в детстве, — он мог бы думать, что рожден от кого-то другого. Но если на лице его отца румянец сиял, точно у рыцаря, только что снявшего шлем после поединка, то на лице Люциуша он горел пятнами, придавая ему смущенный вид. Глядя, как его братья и сестры непринужденно скользят по залу на приемах матери, он удивлялся их легкости, грации, уверенности. Как бы он ни старался — держал в кармане камушек как напоминание, что необходимо улыбаться, писал списки «темы для светской беседы», — непринужденность ему не давалась. Перед приходом гостей он проскальзывал в зал и закреплял за каждым произведением искусства какую-то тему. Портрет Собеского: завести разговор о путешествиях; бюст Шопена: спросить что-нибудь у гостя. Но как бы он ни готовился, это непременно случалось — наступал момент... пауза... всего лишь секунда, всего лишь запинка, прежде чем он мог заговорить. Он уверенно двигался, подчиняясь причудливой хореографии мягких платьев и отутюженных маршальских брюк. Но когда он подходил к группке других детей, их смех замолкал.

Он думал иногда, что если бы ему довелось расти в другое время и в другом месте — среди других, молчаливых людей, — его неловкость оставалась бы незамеченной. Но в Вене, где острословие правит бал, где легкомыслие возведено в символ веры, его недостаток был у всех на виду. Люциуш — само имя, выбранное отцом в честь сиятельных римских царей, звучало насмешкой: чего он не умел, так это блистать. К тринадцати годам он так страшился неодобрения матери, так часто не мог найти нужных слов, что от напряжения у него начинала дрожать губа, он нервно сплетал пальцы и в конце концов стал заикаться.

Вначале его обвинили в симуляции. Заикание проявляется в раннем детстве, сказала мать, а ты уже подросток. Он не заикался, когда был один, когда рассказывал о своих научных журналах или о птичьем гнезде за окном. Заикание не беспокоило его при посещении Императорской зоологической коллекции, где он часами

разглядывал аквариум с *Grottenolm* — протейями, слепыми, прозрачными саламандрами с юга Империи, сквозь кожу которых видна была заворачивающая пульсация крови.

Но в конце концов, допустив, что с ним что-то и вправду не так, мать наняла специалиста из Мюнхена, автора известного учебника по нарушениям речи и изобретателя металлического прибора под названием цунгенаппарат, который отделял друг от друга произношение лабиальных, палатальных и глоттальных звуков и таким образом должен был избавлять от дефектов дикции.

Доктор прибыл теплым летним утром. Похмыкивая и покусывая заусенец, он осмотрел ребенка, прощупал шею, заглянул в уши. Произвел измерения, кислые пальцы ощупали десны Люциуша; мать заскулила и ушла. Наконец на свет был извлечен аппарат, и мальчику велели спеть песенку «Веселый странник по весне».

Он попытался. Губы попали в зажим, зубцы вонзились в язык, он сплюнул кровью. «Громче! — закричал доктор. — Работает!»

Вернувшаяся мать увидела, как сын лает по-собачьи, а на губах у него пузырится кровавая пена. Люциуш переводил взгляд с одного на другого: мать — доктор — мать — доктор; мать все росла и розовела, а доктор скукоживался и бледнел. *Ох, ты не представляешь, что тебе сейчас будет*, подумал мальчик, глядя на мужчину. И стал хихикать — непростая задача, когда у тебя во рту цунгенаппарат, — а доктор быстренько собрал свои инструменты и был таков.

Второй врач безуспешно пытался его гипнотизировать и прописал селедку для увлажнения полости рта. Третий, пощупав его яички, объявил, что они в норме, но когда в них не обнаружилось никакого движения после просмотра сладострастной гимнастики в иллюстрированном издании «Сокровенные тайны монастыря», достал блокнот и записал «недостаточное развитие железы». Затем он зашептал что-то на ухо матери.

Через неделю отец привел его в заведение, специализирующееся на девственницах и весьма респектабельное, что подтверждалось

сертификатом об отсутствии сифилиса. Люциуша заперли в роскошном номере в стиле Людовика II с деревенской девчонкой из Хорватии, которая была разряжена как певица оперы-буфф. Поскольку она приехала с юга, он спросил, слышала ли она о протях. Да, сказала она, и ее испуганное лицо оживилось. Ее отец когда-то собирал маленьких саламандр, чтобы продавать аквариумам Империи. Они подивились этому совпадению в их жизни: как раз на этой неделе одна из любимых саламандр Люциуша в Зоологической коллекции стала метать икру.

После отец спросил: «Ну что, ты сделал это?» — и Люциуш ответил: «Да, папа». А отец: «Я тебе не верю. Что именно ты сделал?» И Люциуш ему: «Я сделал то, зачем пришел». Отец: «А именно?» Люциуш: «То, чему я научился». Отец: «И чему же ты научился, сын?» И Люциуш, вспомнив роман, который читала его сестра, ответил: «Я сделал это с неистовым пылом».

— Вот это мой сын! — сказал отец.

В молчании Люциуш терпел светские приемы, пока ему не разрешали удалиться. Он бы совсем на них не ходил, но мать сказала, что не хочет прослыть второй Валентиной Розоровской, которая прятала свою дочь-калеку в ящике. Так что Люциуш был вынужден сопровождать ее в обходе гостей. Она очень гордилась своей тонкой талией, и он думал иногда, что она таскает его за собой специально ради удовольствия услышать от очередной дамы: «Агнешка, после шестерых детей — такая фигура! Как это возможно?»

Китовый ус! Вот что хотелось проорать Люциушу. Эти беседы приводили его в ужас. Замечания о его рождении были так вульгарны, как если бы гости напрямую хвалили материнские гениталии. Он чувствовал облегчение, когда они переходили на обсуждение музыки и архитектуры. Еще особым вниманием пользовались жены промышленных магнатов — всех интересовало, куда именно ездят их мужья. Только став старше, он осознал умышленную безжалостность этих расспросов.

Король всегда на охоте, королева всегда беременна, так шутили о его семье, перефразируя Гете. Но про себя он думал: наша королева успевает и то и другое. Его отец был сладкоежкой и майором уланского полка; во время битвы при Кустоце итальянцы прострелили ему бедро, и он надеялся провести остаток жизни в покое и довольстве: бить баклуши в своем краковском гарнизоне, попивая сливовицу и виртуозно пугая детей театром теней. В первые десять лет брака, страшась разрушить идиллию, герой войны старался скрыть от супруги спящие фамильные шахты. *Железо? В этой дыре? Там один мышинный помет. Медь? Брось, дорогая, просто глупые слухи. Кто тебе сказал, что там есть цинк?!*

Он слишком хорошо знал жену. Как только она дотянулась до бухгалтерских книг, по всей Южной Польше прошла дрожь. За три года шахты Кшелевских преодолели путь от поставки пуговиц для военных мундиров и меди для армейских труб до стали и железа для новых железных дорог в Закопане. Вскоре она перевезла семью в Вену, чтобы держать руку на пульсе Империи. Мы в своем праве, любила повторять она. Вена в долгу перед нашим родом — в конце концов, Собеские освободили Австрию от турок.

Разумеется, это говорилось при закрытых дверях. В публичной жизни она неизменно окружала себя атрибутами Империи. На каминных полках вскоре выстроился юбилейный фарфор, выпущенный в честь Франца Иосифа. Мать заказала свой портрет Климту. Вначале она была изображена на нем вместе с Люциушем, но потом ее так очаровал золотой узор на портрете Адели Блох-Бауэр, что Люциуша пришлось закрасить. Их династия ирландских волкодавов — Пушек I (1873–81), Пушек II (1880–87), Пушек III (1886–96), Пушек IV (1895–1902) и т. д. — происходила не от кого иного, как от верного Шэдоу императрицы Сисси.

Все ее дети, кроме старшего, родились в Вене. Владислав, Казимир и Болеслав, Сильвия и Регелинда — имена как на подбор, будто перечень польских святых. Когда ему минуло десять, все они уже покинули родительский кров. Позже Люциуш узнал, что у

братьев и сестер были глубокие разногласия, но большую часть детства они казались ему неделимым единством. Братья умели пить, сестры отлично музицировали. Мужчины, которые гостили в их польских и венгерских имениях и отправлялись на рассвете охотиться с его отцом, все очень много пили.

Поэтому он совсем не удивился, когда, объявив матери о своем желании быть врачом, услышал от нее, что это карьера для нищих выскочек.

Он сказал, что многие сыновья аристократов становились врачами. И угадал ответ прежде, чем он слетел с ее тонких поджатых губ:

— Да. Но ты станешь совсем не таким врачом, как они.

В конце концов она уступила. Она лучше других знала его недостатки. Вначале он был одинок. Немецкая медицинская ассоциация студентов встретила его холодно, и он обнаружил, что Фейерман и Каминский так же одиноки и так же пытаются скрыть неловкость, пока другие студенты непринужденно смеются между собой.

С первого дня Люциуш с головой погрузился в учебу. В отличие от двух своих товарищей, которые закончили *Realschule*, ориентированную на практические навыки, и поэтому владели начатками основных наук, он воспитывался с гувернантками и изучал в основном латынь и греческий. Своим приятелям он объявил, что его знания зоологии и ботаники остановились на Плинии. Когда они расхохотались в ответ, он был изумлен: это не было шуткой. После этого он притворялся, что никогда не слышал о Дарвине, и говорил, что «не очень-то верит в земное притяжение». Но с удовольствием посещал «вспомогательные курсы»: была какая-то магия в том, чтоб хором декламировать классификацию Линнея, в сверкающих трубках Крукса, которые приносили для физических экспериментов, в малой алхимии, пузырившейся в колбах Эрленмейера.

И если это была любовь — да, это слово подходило как нельзя лучше: головокружение, ревность к соперникам, погоня за все более интимными секретами, — если его чувство к Медицине было любовью, то чего он вовсе не ожидал от Нее, так это взаимности. Вначале он заметил вот что: когда он говорил о Ней, заикание пропадало. До конца второго года у них не было экзаменов, и поэтому только в третьем семестре, холодным декабрьским днем, явился намек на то, что он обладает, как написали в его годовой аттестации, «необычайной способностью воспринимать то, что находится под кожей».

В тот день им читал лекцию Гриперкандль, великий анатом, из тех почтенных профессоров, которые считают, что все новомодные веяния в медицине (такие, как мытье рук) придуманы для слабаков. Студенты сидели на его лекциях, скованные ужасом, поскольку каждую неделю Гриперкандль проверял практические навыки: вызывал студента, записывал его имя в блокнот (всегда его имя; среди студентов было семь девушек, но с ними он обращался как с медсестрами), и начиналась инквизиция. Он задавал такие изощренные клинические загадки, которые не отгадали бы и большинство профессоров.

Люциуша вызвали во время лекции, посвященной анатомии кисти руки. Гриперкандль спросил, готовился ли Люциуш к занятию, — он готовился; и знает ли он названия костей, — он знал; и не будет ли он любезен их перечислить. Старый профессор стоял так близко, что Люциуш ощущал запах нафталина, идущий от его халата. Гриперкандль погремел чем-то в кармане. Там были кости. Не будет ли Люциуш любезен вытянуть кость и назвать ее? Люциуш колебался, по рядам прошел нервный смех. Он осторожно сунул руку в карман профессора, нащупал самую длинную и тонкую кость. Когда он попытался ее вытащить, профессор схватил его за запястье. «Любой дурак может посмотреть», — сказал он. И Люциуш, закрыв глаза, сказал *scaphoid* и вытащил ее. «Еще!» И Люциуш сказал *capitate* и вытащил ее. А Гриперкандль сказал: «Эти две самые

большие, их легко узнать», и Люциуш сказал *lunate*, а Гриперкандль сказал: «Еще!» И Люциуш сказал *hamate, triquetrum, metacarpal*, вытаскивая каждую кость по очереди, и осталась только одна короткая косточка, странная, слишком массивная, чтобы быть фалангой пальца руки, пусть даже большого.

— Это палец ноги, — сказал Люциуш, чувствуя, что вся рубашка промокла от пота. — Мизинец ноги.

Аудитория замерла.

И Гриперкандль, не в силах удержаться от широкой желтозубой улыбки (потом он говорил, что двадцать семь лет ждал случая для этой шутки), произнес:

— Очень хорошо, сынок. Но чья это нога?

Необычайная способность воспринимать то, что находится под кожей. Он переписал эти слова в свой дневник, на польском, на немецком, на латыни, как будто нашел себе подходящую эпитафию. Это была бодрящая мысль для мальчика, которого всю жизнь озадачивали простейшие действия других людей. Что, если мать во всем ошибается? Что, если все это время он просто видел глубже? Когда в конце второго года состоялись первые испытания — ригорозум, — он оказался первым на своем курсе по всем предметам, кроме физики, тут Фейерман его обогнал. В это было невозможно поверить. Занимаясь с гувернанткой, он чуть не бросил греческий, совершенно не интересовался причинами войны за австрийское наследство, путал кайзера Фридриха Вильгельма с кайзером Вильгельмом и кайзером Фридрихом и считал, что философия сама создает проблемы там, где никаких проблем сроду не было.

Он начинал свой пятый семестр с радостным нетерпением. Он записался на патологию, бактериологию, клиническую диагностику, а летом должны были начаться первые лекции по хирургии. Но надежды на то, что ему дадут наконец заняться не книгами, а живыми пациентами, оказались преждевременными. В действительности он очутился все в тех же гулких лекционных залах,

где прежде слушал лекции по органической химии, и наблюдал за профессорами все с того же почтительного расстояния. Если к ним и приводили пациента — что на вводных лекциях случалось крайне редко, — Люциуш с трудом мог его разглядеть, не говоря уже о том, чтоб увидеть, как правильно простукивать печень или прощупывать распухшие лимфатические узлы.

Иногда его вызывали для демонстрации практических навыков. На занятиях по неврологии он стоял рядом с больным, лечившимся в дневном стационаре, — семидесятидвухлетний кузнец из итальянского Тироля, с такой тяжелой афазией, что он мог выговорить только одно слово: «ду». Его дочь переводила вопросы врача на итальянский, он пытался отвечать, рот его открывался и закрывался, как клюв птенца. «Ду. Ду», — говорил он, лицо его было красным от досады, по залу же разносился шелест восхищения. Подгоняемый агрессивными вопросами лектора, Люциуш диагностировал опухоль височной доли, стараясь думать только о деле и отгоняя мысли о том, как больно слышать эти слова дочери пациента. Она начала плакать и все старалась взять отца за руку. «Прекратите! — закричал на нее профессор, ударяя ее по пальцам. — Вы мешаете учебному процессу!» Лицо Люциуша горело. Он ненавидел профессора за те вопросы, которые он задает при дочери, и за свои ответы. Но не хотелось ему и оказаться на одной стороне с пациентом, безъязыким и слабым. Поэтому он отвечал четко, без сострадания. Его прогноз скорого вклинения ствола головного мозга, неизбежного разрушения дыхательных центров и смерти был встречен бурными, почти громовыми аплодисментами.

После этого выступления некоторые студенты подходили к нему и приглашали его в свои группы. Но его раздражала их некомпетентность. Он не понимал лени тех, кто нанимал художников, чтобы с их помощью затвердить анатомию кадавров. Он был готов двигаться вперед, трогать пациентов, разрезать их, вынимать из них болезнь. Даже клиническая практика его удручала: за прославленным врачом ходила толпа из восьмидесяти студентов,

и хорошо, если хоть двадцати из них позволялось прощупать грыжу или опухоль молочной железы. Однажды — и только однажды — его оставили наедине с пациентом, далматинцем с жидкими волосенками, из чьего ушного канала он извлек столько серы, что из нее можно было бы слепить небольшую, но вполне годную церковную свечу. Мужчина, которому пятнадцать лет ставили диагноз «глухота», смотрел на Люциуша так, словно перед ним был сам Христос, вновь сошедший на землю. Но благодарности, благословения, плаксивое целование рук только смутили Люциуша. И это то, чему он учился? Добыча полезных ископаемых? Тот факт, что его высокочтимый профессор приписал глухоту пациента деменции, только еще больше вгонял его в тоску.

Он вернулся к своим книгам.

К тому времени тягаться с ним мог только Фейерман. Вскоре они оторвались от остальных и стали учиться вдвоем, подталкивая друг друга ко все более изощренным фокусам диагностики. Они заучивали симптомы отравления разными ядами и заражения редкими тропическими паразитами, из озорства примеривали устаревшие системы классификаций (френологию, гуморальную теорию) к своим однокурсникам. Когда Фейерман заявил, что может диагностировать десяток болезней по походке пациента, Люциуш ответил, что ему достаточно слышать походку, и они тут же отыскивали пустой коридор, и Люциуш повернулся лицом к стене. Фейерман стал ходить взад-вперед за его спиной. Топ-топ, говорили его ноги, топ-топ-топ, шарк-бум и шарк-шарк, и хлоп-хлоп. Мозжечково-сенситивная атаксия, был ответ, центральная гемиплегия, болезнь Паркинсона, плоскостопие.

— А это? — спросил Фейерман, и его ноги простучали тита-тита-хлоп.

Но это был легкий вопрос.

— Танец бездарный, форма хроническая — возможно, терминальная.

— Я посрамлен! — взревел Фейерман, и Люциуш, чрезвычайно довольный собой, тоже принялся отбивать чечетку.

Иногда ему казалось, что Фейерман единственный его понимает, и только с ним он чувствовал себя непринужденно. Именно Фейерман, который был хорош собой и успел заработать репутацию ловеласа среди сестричек, уговорил его сходить в бордель на Альзерштрассе, поскольку, по его словам, легендарные врачи Бильрот и Рокитанский были там завсегдатаями; и именно Фейерман, ссылаясь на труд «Структура и функции женских гениталий» (Лейпциг, 1824), обучал его приему *titillatio clitoridis*. При этом за прошедшие два года они ни разу не говорили о том, что не имело бы совсем никакого отношения к медицине. Ни разу Фейерман не принял приглашения в роскошный особняк Люциуша на Кранахгассе. А Люциуш никогда не спрашивал, что случилось с родителями Фейермана и отчего они бежали из деревушки близ русской границы, когда их сын был еще младенцем, а также почему у него нет матери. Он знал только, что отец его друга — портной и что он шьет сыну безупречные костюмы из обрезков.

Бильрот, говорил Фейерман, после коитуса закусывал огурчиком, а Рокитанский никогда не снимал белого халата. Великий ван Свитен однажды прописал *titillatio* для излечения фригидности императрице Марии Терезии; именно это спасло Империю. Однажды Фейерман ни с того ни с сего заявил: «Может быть, в один прекрасный день мы женимся на двух сестрах». Люциуш ответил, что это прекрасная идея, и спросил, читал ли Фейерман труд Кламма о применении сонных капель при пальпитации неизвестной этиологии.

Но из всех недугов, которые он изучал, больше всего интересовали его неврологические болезни. Как поразительно устроен мозг! Ощущать конечность через годы после ампутации! Наблюдать привидения у своей постели! Добиваться симптомов беременности (раздувшийся живот, аменорея) просто силой своего желания. Наслаждение, которое он испытывал, распутывая сложные

случаи, было почти эротическим. В этих узорах проступала восхитительная ясность: можно указать расположение опухоли в зависимости от того, нарушено ли у пациента зрение или речь, можно свести всю сложность человека к архитектуре клеток.

В университете был профессор по фамилии Циммер, известный рассечением таламуса, которое он проводил еще в семидесятые годы; позднее он издал книгу под названием «Рентгеновская диагностика заболеваний головного мозга». Книгу отыскал Фейерман, но оторваться от нее не мог Люциуш. Зачитав до дыр библиотечный экземпляр, он приобрел свой.

Страница за страницей изображала рентгеновские снимки головы и лица. Стрелочки показывали разрастание раковых опухолей и тончайшие трещинки. Он научился различать тонкие, петляющие сочленения, извилистые пути костных швов, «турецкое седло», в котором располагается гипофиз, более темные воронки у основания черепа. Но взгляд его продолжал возвращаться к гладкому куполу — своду черепа. Здесь свет был туманным, как будто кто-то выпустил внутрь клубы дыма. Казалось бы, не на что смотреть... клубящиеся оттенки темно- и светло-серого, фокусы света и тени, обман зрения. И все-таки именно там прячется мысль, потрясенно думал он. В этой серой дымке живут страх, и любовь, и память, и облики любимых, и запах влажной пленки, и даже зрение того, кто стоял за рентгеновским аппаратом. Доктор Макьюэн из Глазго, один из его кумиров, назвал мозг «темным континентом». Работая еще до рентгена, он мог видеть живой мозг только в виде крошечной жемчужины зрительного нерва внутри глаза.

Люциуш явился к Циммеру на кафедру неврологии без предупреждения.

Чего не хватает в вашей книге, сказал Люциуш, усевшись напротив старого профессора в комнате, заваленной образцами и коробками с диапозитивами, при всем уважении, герр профессор доктор, чего не хватает — так это изображения сосудов. Если бы можно было изобрести эликсир, который был бы виден на рентгене,

впрыснуть его в вены и артерии, увидеть, как извиваются венозные ветви... если б можно было развеять этот туман...

Циммер, со свалывшимися волосами и лохматыми бакенбардами, напоминал старого мерина, давно отправленного на вольный выпас. Он слизнул что-то со своего монокля, протер его и вставил в глаз. Потом прищурился, будто не в силах поверить в такую наглость студента. На стене за его спиной красовались портреты его собственного наставника, и наставника наставника, и наставника наставника наставника — королевская родословная медицины, подумал Люциуш, и приготовился, что сейчас его выгонят. Но что-то в отчаянной бестактности этого неловкого мальчика заинтриговало старика.

— Мы впрыскиваем ртуть, чтобы показать сосуды на трупах, — сказал он наконец. — Но с живыми пациентами этот номер не пройдет.

— А если кальций? — спросил Люциуш, ощущая легкое головокружение, но не отступая. — Йод? Бром? Я читал... Если бы можно было видеть сосуды, можно было бы видеть течение крови, мы видели бы очертания опухолей, инсульты, сужение артерий...

— Я знаю, что мы могли бы увидеть, — резко перебил Циммер.

— Мысли, — сказал Люциуш, и старик поднял бровь, высвобождая монокль и ловя его в полете. Визит был окончен.

Но через две недели Циммер сам позвал его.

— Начнем с собак. Раствор приготовим здесь, а вводить будем на факультете рентгенологии, там есть рентгеновский аппарат.

— С собак?

Циммер, должно быть, прочитал неуверенность в лице студента.

— Ну, мы же не можем начать с профессора Гриперкандля, верно?

— С профессора Гриперкандля? Что вы, герр профессор.

— Наши результаты в этом случае не будут воспроизводимыми, не так ли?

Люциуш колебался. Он настолько не допускал мысли, что профессор такого калибра, как Циммер, может подшучивать над профессором такого калибра, как Гриперкандль, что вначале понял вопрос буквально. Но что на это ответить? Да, можем — он готов подвергнуть вивисекции своего старого наставника? Нет, не можем — признать, что великий анатом так нетипичен, что...

— Мы не будем экспериментировать над профессором Гриперкандлем, — сказал Циммер.

— Разумеется, герр профессор.

Он нервно сплел пальцы. Циммер, явно забавляясь, открыл жестянку, стоявшую на столе, достал конфету и сунул себе в рот. Вторую он протянул Люциушу:

— Карамельку?

Его пальцы потемнели от табака и пахли хлороформом, Люциуш заметил на столе открытый сосуд, по всей видимости содержащий ствол мозга. С минуту Люциуш колебался, не в силах оторвать от него взгляд.

— Конечно, профессор. Спасибо, герр профессор доктор, сударь.

Главное здание больницы находилось примерно в километре от лаборатории Циммера. Две недели Люциуш таскал туда собак. Поскольку ни один фиакр не останавливался, чтобы взять таких пассажиров, ему приходилось возить собак в тележке. На улице у собак — тех, которым удавалось выжить, — нередко начинались судороги. На многолюдных тротуарах прохожие оборачивались на бледного молодого человека в мешковатом пиджаке, который вез в тележке дергающихся псов. Он старался держаться подальше от детей.

Рентгеновский аппарат часто ломался, к нему выстраивались длинные очереди. Однажды он прождал пять часов — в тот день на рентген прибыла королевская семья при полном параде.

Люциуш отправился к профессору.

— Сколько стоит рентгеновский аппарат? — спросил он.

— Аппарат? Ха! Его стоимость намного превосходит бюджет этой лаборатории.

— Я понимаю, герр доктор, — ответил Люциуш, опустив глаза. — Но если купить его на пожертвование состоятельной семьи?

В последующие недели он возвращался домой, только чтобы поспать, перепрыгивая по три ступени парадной лестницы. Мимо бюста Шопена и портрета Собеского, по большому залу, мимо средневековых гобеленов и золоченого обезлюциушного Климта.

Он вставал до рассвета. Он впрыскивал соли ртути и растворы кальция, но изображения получались нечеткими. Масляные суспензии давали прекрасное изображение вен, но они закупоривали сосуды. Йод и бром казались более многообещающими, но слишком большая доза убивала животное, а слишком малая не давала результата на снимке. Чем сильнее он отчаивался, тем больше энтузиазма проявлял его наставник. Старик задумал назвать будущую, еще не существующую субстанцию эликсиром Циммера и уже начал размышлять, удастся ли отследить усиление кровотока в областях активности. Скажем ему: пошевели рукой, говорил Циммер, и увидим, как осветляется область в двигательной коре головного мозга, а речь осветит височную долю. Однажды мы проверим это на людях.

А Люциуш думал: именно это я и сказал в первый же день.

Люциуша поддерживала только его мечта: увидеть, как другой человек думает.

Вскоре стало ясно, что они далеки от открытия. Те изображения, которые у них получались, были слишком мутными, а Циммер отказывался публиковать результаты из страха, что какой-нибудь другой профессор украдет их эксперимент. Теперь Люциуш жалел, что предложил ему эту идею. Ему надоело убивать бедных собак — к весне их было уже восемь. Дома Пушек (VII) избегал его, как будто о чем-то догадывался. Он тратил время зря. Фейерман дразнил Люциуша — помнишь, говорил он, как, рассматривая срезы мозга

под микроскопом, мы притворялись, что видим свернувшуюся змеей зависть или призывный изгиб похоти?

— Занимательная идея, Кшелевский, но надо и меру знать.

Но Люциуш не отступал.

Большинство их однокашников компенсировало недостаток клинической практики, подвизаясь волонтерами в провинциальных больницах во время каникул. Вскрывали фурункулы дояркам, как говорила его мать, — так что Фейерман отправился один: лечил переломы, штопал раны, нанесенные вилами, констатировал смерть пациента от бешенства, принял девять младенцев у плодовитых деревенских баб, таких крепких, что они порой сами приходили с поля, уже начав рожать. Через три недели, сидя за своим любимым столиком в кафе «Ландтманн», Люциуш слушал, как его друг описывает в деталях каждого пациента, размахивая в воздухе загорелыми родоприимными руками с сильными родоприимными пальцами. Он не знал, чему завидует больше — обедам, которыми кормили Фейермана крестьяне в избытке благодарности, или тому, что смуглые деревенские девушки целовали ему ладони. Или возможности принять младенца, используя те приемы, которые сам он практиковал лишь на атласной вагине манекена. Он провел месяц, экспериментируя со смесью йода и брома, а после обнаружил, что Циммер поменял этикетки на колбах.

— Я не могу описать все это, слов не хватает, — говорил Фейерман, кидая чаевые на серебряный поднос. — Следующим летом поедем вместе. Тот не жил, кто не держал в руках...

— Доярку? — слабо пошутил Люциуш.

— Младенца. Настоящего живого младенца. Розового, крепкого, орущего от жажды жизни.

Последняя капля упала в мае 1914 года.

В тот вечер Циммер с загадочным видом поманил его к себе в кабинет. Нужна помощь, сказал он. Редкий, необычный случай.

На мгновение Люциуш испытал прежнее волнение.

— Какой случай, герр профессор?

- Необычайная патология.
- В самом деле?
- Настоящая загадка.
- Герр профессор сегодня необычайно игрив.
- Серьезный случай копчиковой ихтиодизации.
- Простите, герр профессор?

Тут Циммер не удержался и захихикал.

- Русалки, Кшелевский! В медицинском музее.

Со дня поступления на медицинский факультет Люциуш слышал слухи. Музей, в котором находились диковинки из знаменитой Кунсткамеры Рудольфа II, якобы хранил, помимо других бесценных экспонатов, пару карликов, трех ангелов в формалине и несколько русалок, которых преподнесли Императору после того, как их вынесло на чужеземные берега. Но ни один из студентов никогда не был внутри.

- У герра профессора есть ключ?

Ответом ему была проказливая улыбка, обнажившая десны и мелкие зубы.

В тот вечер они дождались, пока ушел куратор, и спустились вниз.

В зале было темно. Они прошли мимо орудий пыток, бутылей с деформированными эмбрионами, коллекции клювов дронтов, законсервированных морских черепах и сморщенной головы из Амазонии. Наконец они приблизились к дальнему стеллажу. Вот и русалки. Не прелестные девушки, плавающие в сосуде, как всегда воображал Люциуш, а два сморщенных тельца размером с младенца. Кожа на их личиках натянулась, обнажая зубы, а туловища сужались книзу и переходили в чешуйчатый хвост.

Циммер принес с собой рюкзак. Он открыл его и сделал знак Люциушу, чтобы тот положил внутрь одну из русалок. Они понесут ее на рентген и посмотрят, сочленяется ли пояснично-крестцовый отдел позвоночника с позвонками хвоста.

— При всем уважении, герр профессор, — сказал Люциуш, чувствуя, как голос его дрогнул от легкой паники, — я очень в этом сомневаюсь.

— Но посмотрите на поверхность — не видно ни клея, ни ниток.

— Это очень хорошая подделка, герр профессор.

Но Циммер уже нацепил монокль и вглядывался в рот русалки.

— Герр профессор, разумно ли ее уносить? Они кажутся... хрупкими. Что, если она сломается?

Циммер постучал русалкой по стеллажу, словно молотком.

— Очень крепкая, — сказал он.

Люциуш осторожно взял ее в руки. Она была легкой, на ощупь как будто кожаной. Казалось, русалка крепко зажмурилась. Вид у нее был крайне возмущенный.

— Пошли, — сказал Циммер, засовывая свой трофей в рюкзак.

Медицинский музей располагался в подвале. Они поднялись по лестнице и пошли через главный вестибюль, украшенный статуями величайших врачей Вены. Где-то вдалеке мерцал свет. Люциуш был благодарен судьбе за то, что сейчас вечер и все студенты разошлись по домам. Звук, с которым русалка терлась о ткань рюкзака, казалось, заглушал их шаги.

Они уже выходили, когда раздался голос:

— Герр профессор Циммер!

Они остановились и обернулись — к ним направлялся ректор в сопровождении невысокой темноволосой женщины.

Ректор широко улыбался Циммеру, приветственно подняв руки.

Циммер едва заметил его. Вместо этого он пожал руку женщине:

— Мадам профессор! Что привело вас в Вену?

— Лекция, герр профессор, — ответила она по-немецки с явным акцентом. — Теперь все больше лекции.

Тут ректор заметил Люциуша. И представил его спутнице:

— А это один из лучших наших студентов. Керселовский... гм... то есть Курславский...

— Кше-лев-ский, — по слогам произнес Люциуш, не удержавшись. — По-польски такое сочетание букв произносится...

— Конечно! — воскликнул ректор. — Вы слышали о мадам Кюри? Люциуш застыл на месте. Мадам Мария Склодовская-Кюри.

— Огромная честь, — пробормотал он почтительно. Две Нобелевские премии! Среди поляков Вены она считалась святой.

Мадам Кюри улыбнулась. Сказала по-польски:

— Кшелевский? Поляк?

— Да, мадам профессор.

Она наклонилась к нему, словно заговорщица:

— Какое облегчение! Господи, как я устала говорить по-немецки!

Люциуш с беспокойством покосился на двух мужчин, но они, казалось, были рады, что мадам Кюри нашла себе собеседника. Не зная, что сказать, он ответил:

— Польский — красивый язык.

Но великая исследовательница как будто не заметила, как неловко это прозвучало. По-немецки она обратилась к ректору:

— Можно, он пойдет с нами на ужин? Я так рада повстречать соотечественника. — И добавила Люциушу, по-польски: — Эти старики такие занудные! Умереть можно.

Люциуш посмотрел на Циммера в надежде, что тот вмешается и скажет, что им нужно занести рюкзак на кафедру, но Циммер, казалось, совершенно забыл о русалке.

В тот вечер они ужинали в ресторане «Майсль унд Шадн». Мадам Кюри пожелала размять ноги, поэтому они пошли пешком. На Рингштрассе за ними на небольшом расстоянии увязались два шелудивых пса; они не отрывали взгляда от рюкзака и подвывали от голода. У двери метрдотель предложил взять у Люциуша рюкзак, но тот вежливо ответил «не стоит» и, как ему казалось, незаметно сунул свою поклажу под стул. В начале ужина Циммер принялся подробно рассказывать об их рентгеновских изысканиях, и мадам Кюри задавала острые вопросы о контрастных веществах, большую часть которых Циммер переадресовывал Люциушу. Они приступили к

десерту, когда прославленная ученая дама спросила у двух профессоров разрешения перейти на польский.

— Разумеется!

Она повернулась к Люциушу:

— Что в мешке?

— В мешке, мадам профессор?

— Не валяйте дурака, молодой человек. Кто приносит в «Майсль унд Шадн» рюкзак, да еще прячет его под стулом? Там должно быть что-то поистине бесценное! — Она подмигнула. — Последние полчаса я пыталась прощупать его ногой.

— Русалка, мадам профессор, — ответил Люциуш, не придумав ничего другого.

Ее брови поползли вверх.

— В самом деле? Сушеная?

— Э... да, сушеная. Откуда вы знаете?

— Ну, если бы она была законсервирована, мы бы учуяли запах хлороформа. И она не живая, иначе бы наверняка сопротивлялась. Я бы на ее месте точно сопротивлялась. Это же она, да? Все экзотическое всегда женского рода.

Люциуш с беспокойством огляделся.

— Я не мог этого проверить, мадам. Я не знаком с анатомией.

Затем он с ужасом осознал, как превратно можно было понять последнюю фразу. Радуюсь полумраку ресторана, он быстро добавил:

— Я никогда раньше не видел русалок.

Она понизила голос:

— Можно посмотреть?

— Прямо сейчас, мадам профессор? — спросил Люциуш.

— Потом.

Когда ужин закончился, она спросила:

— Можно, студент меня проводит?

Ректор, который сам надеялся удостоиться этой чести, с неохотой согласился. Циммер, к тому времени уже совершенно пьяный, помахал Люциушу рукой.

Она остановилась в «Метрополе». В вестибюле, пока они ждали лифта, Люциуш почувствовал оценивающий взгляд носильщика. Это не то, что ты думаешь, мысленно произнес он, хотя невысказанное предположение ему польстило. Мы всего лишь собираемся взглянуть на русалку.

Наверху мадам Кюри провела его в туалетную комнату, где стояла ванна на четырех ножках. Люциуш открыл рюкзак, и она вытащила русалку.

— О боже. — Она поднесла существо ближе к свету.

В зеркале Люциуш видел их всех троих.

— Какое же уродство! — Она повернулась к Люциушу: — Лицо как у бывшего американского президента Теодора Рузвельта — похоже, правда? Ей бы еще усики и очки...

— Да, мадам профессор. Если американского президента препарировать и пришить ему хвост, они будут очень похожи.

Люциуш, который по студенческой привычке всегда отвечал полными предложениями, повторяющими и слегка распространяющими вопрос, совершенно не собирался шутить, но мадам Кюри расхохоталась. Потом покачала головой:

— Боже правый, зачем вы таскаете ее с собой?

— Профессор Циммер хотел просветить ее на рентгеновском аппарате... Она из коллекции Рудольфа II. Подарок султана. Он думал, мы сможем увидеть, как сочленяются позвонки хвоста и пояснично-крестцовый отдел...

— Сочленяются? То есть он верит, что она настоящая?

— Это возможность, которую он... мы рассматривали. — В зеркале Люциуш видел, как его лицо багрово краснеет. — Рентгеновский аппарат позволяет исследовать феномены, которые прежде...

Она резко перебила его:

— А что думает студент?

— Я думаю, это подделка, мадам профессор. Я думаю, это обезьяна и лопастеперая рыба.

— Почему?

— Потому что я вижу нить, мадам профессор. Присмотритесь — вот здесь, под чешуей.

Он показал ей.

— О боже, — отозвалась она. — В хорошенький переплет вы угодили.

Она вернула ему русалку и добавила:

— Ректор говорит о вас с восхищением. Если не возражаете, я дам вам личный совет — как соотечественница. Спасайтесь. Гений осеняет молодых. Вы теряете время.

Но уйти от профессора оказалось не так-то легко.

Вопреки здравому смыслу, Люциуш чувствовал к нему сыновнюю привязанность. К тому времени он мечтал, что когда-нибудь они будут обращаться друг к другу приятельским *du*^[1]. Поэтому, когда Циммер заявил, что рентгенограмма «не дает возможности прийти к окончательному выводу», Люциуш сказал старику, что собирается проводить больше времени в библиотеке, чтобы найти состав, который будет лучше отвечать их целям.

Он снова начал посещать занятия.

Патологическую анатомию, лекции и лабораторные занятия.

Патологическую гистологию, лекции и лабораторные занятия.

Патологическую анатомию со вскрытиями трупов (Фейерман: «Наконец-то и у тебя пациент!»).

Общую фармакологию, где надо было заучивать длинные списки лекарств, но некому было их прописывать.

Он снова бывал в анатомическом театре, смотрел вниз на сцену.

И так далее. До самого лета третьего курса, когда ему оставалось еще два года и нетерпение снова стало почти невыносимым, но тут вмешалась судьба — на этот раз она вылетела из дула пистолета Гаврилы Принципа в Сараеве и вошла в тела эрцгерцога и его жены.

2

Война была объявлена в июле. Поначалу Люциуш не оценил возможности, которые это открывало. Мобилизацию он полагал помехой в учебе; его тревожили слухи, что занятия приостановят. Однокашники хмелили от судьбоносных перемен, убегали из читален, чтобы попасть на демонстрации, выстраивались в очереди перед призывными пунктами; весь этот патриотизм был ему непонятен. Он не участвовал в толкотне вокруг карт, где все увлеченно изучали продвижение Австро-Венгерской императорской и королевской армии вглубь Сербии, или немецкий марш-бросок через Бельгию, или столкновения с русскими войсками у Мазурских озер. Его не интересовали передовицы, воспевающие «избавление от всемирного застоя» и «обновление германского духа». Прибывший из Кракова кузен Витольд, двумя годами младше его, со слезами на глазах признался, что поступил на службу в пехоту, потому что война — впервые в жизни — заставила его почувствовать себя австрийцем, на что Люциуш заметил по-польски, что война, видимо, также лишила его остатков ума; его просто убьют, вот и все.

Но от торжеств было некуда деться. Весь город, казалось, провонял гниющими цветами. В городских парках брошенные ленты путались в кустах роз; Люциушу повсюду попадались солдаты с гирляндами на шее, шествующие под руку с сияющими подружками. В кинотеатрах устраивали военные сеансы с киносборниками в духе «На наших заводах кипит работа» или «Он перевязывает товарища на поле боя». В госпитале сестры обсуждали, как австрийские вагоны пойдут по слишком широким для них русским рельсам. В газетах печатали портреты врагов, чтобы показать их звероподобную физиогномику. Дома его племянники распевали:

*Плещет Днестр чистый,
Горько плачет Криста:*

*Не находит места
Казака невеста.*

Он старался не обращать на них внимания.

В небесах висели цеппелины, приспуская носовую часть над Хофбургом из почтения к Императору.

По прошествии нескольких недель стали доходить слухи о нехватке врачей.

Сперва это были только слухи; армии не хотелось публично сознаваться, что подготовка оказалась негодной. Однако на медицинском факультете начались негласные перемены. Всем готовым отправиться на фронт предлагали ускоренный выпуск. Студенты, у которых за плечами было всего четыре семестра, становились лейтенантами-медиками, а у кого шесть, как у Люциуша, оказывались в гарнизонных госпиталях, где четверо или пятеро врачей обслуживали целый полк из трех тысяч солдат. К концу августа Каминский уже служил в полковом госпитале на юге Венгрии, а Фейермана вот-вот должны были отправить на сербский фронт.

За два дня до отъезда друга Люциуш встретился с ним в кафе «Ландтманн». Под сенью бесконечных флажков теснились семейства, в последний раз выбравшиеся в свет с сыновьями. Поступив на военную службу, Фейерман завел привычку непрерывно насвистывать. Он был коротко подстрижен и как-то отчаянно гордился своими аккуратными усиками. Австрийский флаг соседствовал на его военной форме со звездой Давида на значке спортивного клуба «Хакоах», где он занимался плаванием. Подумай хорошенько, сказал он Люциушу, отпивая пиво из кружки с черно-желтой лентой на ручке. Если не ради верности Императору, то ради верности медицине. Ты что, не понимаешь, сколько лет придется ждать, чтобы снова увидеть такие клинические случаи? Гален же учился на гладиаторах! Через несколько дней он, Фейерман, уже будет оперировать — а Люциушу, останься тот в Вене, сильно